18+
ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ
ЗОНА ЛИМБО

# Юрий Мельников
# Зона Лимбо

*https://litres.ru/74148038*
*ISBN 9785006996335*

## Аннотация

Самое поразительное в «Зоне Лимбо» — то, чего в ней нет. Нет описаний лагерей. Нет сцен насилия. Нет тел. Нет даже слова «Холокост». И это чертовски пугает. Автор, кажется, интуитивно понял то, что формулировал Адорно и к чему пришли в своей практике Целан и Боровский: после Аушвица описывать Аушвиц — значит рисковать превратить его в объект потребления.

# Содержание

Зона Лимбо 5
Пролог 5
Глава 1. Вертиго 17
Глава 2. Пыль 27
Конец ознакомительного фрагмента. 35

# Зона Лимбо

## Юрий Мельников

© Юрий Мельников, 2026

ISBN 978-5-0069-9633-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Зона Лимбо

## Пролог

Ноябрь сочился сквозь кирпичное крошево, сквозь сизую пемзу тумана, оседая на плечах чужого, снятого с чужого плеча, слишком просторного пальто. Ганс Вебер — так звали пустоту внутри этого сукна, так было выведено каллиграфическим, бухгалтерским почерком в справке, выданной не существующим более ведомством, шагал по Банхофштрассе.

Шагал, прислушиваясь к тому, как город расступается перед ним: не из почтения расступается, нет, а из пепельного, стылого безразличия. Ганновер просыпался с открытыми глазами, похожими на выбитые витрины. Солнце, затёртая латунная пуговица на кителе мёртвого неба, едва просвечивало сквозь пыль. Ганс Вебер, не служивший, торговый представитель, протестант, искал жену. Искал двух мальчиков, Клауса и Дитера, чьи голоса все ещё плескались в его левом ухе, словно застрявшая в перламутровой раковине морская вода, вода, которая медленно, но неизбежно становилась солёной кровью.

Из распоротых животов полуразрушенных домов, из-за занавесок, сшитых из мешковины, сочилось радио. Эфир в Серой зоне страдал неизлечимой аритмией, он был болен

частотами, которых не было на шкале настройки. Никто не знал, чья рука поворачивает рубильник, но из динамиков, сквозь треск статического, стеклянного электричества, лилась тягучая, словно патока, «Лили Марлен» — замедленная, будто иглу патефона вели по бороздкам чьим-то бледным пальцем.

*Vor der Kaserne, vor dem großen Tor…*

Музыка вязла в воздухе, а затем обрывалась, и наступало время Голоса.

Голос читал имена.

Сухой, лающий, надломленный берлинский тенор с лёгким рейнским акцентом — голос — мёртвого? — доктора с Александерплац, который теперь, из подвалов московского небытия, читал списки. Он читал их с той особенной, лишённой жалости гипнотической интонацией, с какой зачитывают инвентарные описи.

*Эстер Розенблюм, тысяча девятьсот двенадцатого. Мориц Кляйн, тысяча девятьсот третьего. Рут Кляйн…*

Имена падали, как мерные капли из проржавевшего крана. Это были списки людей, торговавших сейчас эрзац-хлебом на соседней улице, людей живых, дышащих, но в голосе радио-призрака они уже превратились в числа, в золу, в тягучий сладковатый дым, тянущийся над их домом.

*Ноа Гольдштейн, тысяча восемьсот девяносто второго года рождения. Место смерти — Треблинка. Дата смерти — четырнадцатое августа тысяча девятьсот сорок вто-*

*рого года.*

Вебер прижал ладони к ушам — ладони, чистые, с аккуратно подстриженными ногтями — но голос шёл не снаружи, а изнутри, из того места, где кость соединяется с памятью, и заткнуть его было нельзя.

В этом мире, неправильном, бракованном мире не было никакой Треблинки. В этом мире война кончилась в октябре. Гольдштейн — жив. Сидит в мастерской. Шьёт костюм. Вдевает нитку с первого раза. Улыбается. Даты — нет. Места — нет. Самого слова нет.

Нет, Вебер не слушал имён. Нет, Вебер шёл к портному, перебирая ногами, как слепая, спелёнатая куколка, куколка, ждущая превращения, но забывшая, в какую именно бабочку ей предстоит обратиться.

В подвале мастерской пахло мелом, нагретой шерстью и пылью — запахом остановленного времени. Гольдштейн, старый еврей с глазами цвета влажного асфальта, сидел у керосиновой лампы. Он шил. Игла входила в ткань и выходила из ткани, вход-выход, вход-выход, и каждый стежок был маленьким решением, крошечной попыткой сшить разодранное на части время.

— Ваш костюм, герр Вебер. Почти готов, — произнёс портной, не поднимая головы, и голос его шелестел, как сухая листва по брусчатке. — Хорошая ткань. Довоенная. В хорошем костюме всё легче. Даже не быть собой, — и то легче.

Вебер сел на стул, и стул тотчас стал тем, чем является всякая вещь в этой зоне — пустотой с ножками. Подвал качнулся. Пространство комнаты дрогнуло, как нагретый воздух над жаровней, и сквозь закопчённые стены проступила бесконечная, чавкающая грязь.

Ноа не сидел у лампы. Ноа стоял.

Он стоял на холодном ветру, и на нем не было жилетки, только тонкая, промокшая насквозь полосатая роба, а за его спиной тянулись ряды деревянных, геометрически безупречных бараков, уходящих в серую, как форма Вермахта, вечность.

— *Вы ведь хотели меня сжечь, герр Ланг?* — сказал портной, и губы его не пошевелились, но слова прозвучали, отдавшись в висках Вебера гулом электрической печи. — *Но спички отсырели… да?. Вы плохо спали сегодня, герр Ланг?*

Гул оборвался. Снова тикал маятник. Лампа коптила.

— Вы совсем бледный, герр Вебер, — Гольдштейн смотрел поверх сползших очков, и в его взгляде была та невыносимая, спокойная точность, с которой мёртвые смотрят на тех, кто забыл умереть. — Сходите на вокзал. Сегодня пришёл поезд из Штеттина. Может, ваша семья там? Человек ищет — значит, он ещё жив. Человек перестаёт искать — значит, он уже…

— Нет, — сказал Вебер быстро. Слишком быстро. Как ложь. — Они остались в Берлине. Хельга не уехала бы из Берлина.

— Хельга? — Портной наклонил голову. — Красивое имя. У меня была клиентка — Хельга. Другая Хельга, конечно. До войны. В Берлине. Она любила синий цвет. Говорила: синий — цвет верности. Я шил ей платье — синее, с белым воротником. Такое платье… — Он провёл пальцами по воздуху, рисуя контур чего-то, что существовало только в его памяти. — Такое платье, в котором можно пережить конец света, и после конца света кто-нибудь посмотрит на тебя и скажет: красивое платье.

Вебер уже не слушал. Он выскочил на улицу, жадно глотая морозный воздух, отталкивая от себя слова старика, но улица уже не была улицей. Раздался хруст. На углу, шурша широкими шинами, стоял британский патрульный «Виллис». Двое в оливковом лениво курили. Они искали. Они смотрели на лица.

И тогда Вебер почувствовал запах.

Густой, животный, тошнотворно-кислый запах паники, расщепленного адреналина, металлической испарины. Запах страха. Он знал его досконально. Ещё в августе, в тренировочных лагерях СС, он вдыхал этот пар, поднимающийся от тех, кого приводили к нему, запах тех, кто понимал, что стал мясом. Он был дирижёром этого запаха. Он был его создателем.

Но сейчас никого не было рядом. Запах исходил из его собственных подмышек. Из его кожи. Из его пор. Он встал в шеренгу. Он стал добычей.

Не помня себя, Фриц Ланг, он же Ганс Вебер, бросился в узкий переулок. Он бежал, задыхаясь, спотыкаясь о кирпичи, и переулок складывался гармошкой, сужался, стены росли вверх, покрываясь грязным весенним снегом. Где-то далеко, а может быть, совсем близко, внутри его собственной черепной коробки, захлебнулась лаем овчарка. Одна. Вторая. Лай означал, что след взят.

Звук его собственных шагов начал меняться. Рваное дыхание, топот ботинок по камню — всё это плавно, страшно перетекло в равномерное, сытое урчание мотора.

Фриц моргнул. Он больше не бежал.

Он сидел на мягком, скрипящем кожаном сиденье армейского «Кюбельвагена». Его руки, обтянутые идеальной черной кожей офицерских перчаток, спокойно лежали на коленях. Машина медленно катилась по мартовской грязи варшавского гетто. А впереди машины, задыхаясь от животного ужаса, стирая в кровь ноги, спотыкаясь, бежал человек в слишком просторном, с чужого плеча снятом пальто.

И этот бегущий человек, этот затравленный зверь, оглядывающийся на собак, был он сам.

А тот, кто сидел в машине, лениво следя за погоней сквозь чистое стекло ветрового окна, тот, кто чувствовал абсолютную, геометрическую правильность происходящего — тоже был он. Причина и следствие поменялись местами. Палач охотился на своё собственное милосердие.

Переулок кончился. Вебер упёрся ладонями в мокрую

стену у железнодорожного вокзала. Сердце колотилось. Собак не было. Никогда не было. Он — Ганс Вебер. Из Бремена. Торговый представитель.

Поезд из Штеттина стоял на втором пути. Длинный, грязный, с выбитыми стёклами. Люди вытекали из вагонов медленно, как выходят из темной воды — тяжело, неохотно. Женщины с узлами. Старики. Все с одним и тем же выражением лиц, принадлежащих тем, кто прибыл, но не приехал.

Он стоял на перроне и смотрел, как пространство снова начинает предавать его.

Каждая женщина в сером пальто на секунду становилась Хельгой. Каждый мальчик, цепляющийся за подол — Дитером. Но чем дольше он смотрел на поезд, тем сильнее заплывали досками выбитые окна вагонов. Двери обрастали тяжёлыми наружными засовами.

Это был другой поезд. И перрон был другим.

Люди не выходили медленно. Их выгружали. Быстро, быстро, *schnell*, прожектора били в глаза, лай рвал перепонки. Он стоял на этом перроне, и перед ним вилась бесконечная, покорная шеренга, и его собственная, в черной перчатке рука поднималась и опускалась. Направо. Налево. Жить. В печь. Направо. Налево. Каждое движение — стежок иглы, маленькое решение, маленький выбор. Аккуратно. Как колонка цифр.

И тут он увидел их.

В толпе беженцев, спускающихся на ганноверский перрон

тридцать девятого года, шли Хельга, Клаус и маленький Дитер. Живые. Настоящие. Дитер плакал, прижимая к груди деревянную игрушку. Они спаслись. Они приехали. Ему нужно было только сделать шаг, окликнуть их, обнять. Начать новую, безымянную, тихую жизнь в этой зоне лимба.

Он сделал полшага. Клаус оглянулся, и замер.

Нет. Он найдёт их. Обнимет Хельгу. Клаус скажет «папа». Дитер заплачет — он всегда плакал, когда боялся, а потом, когда переставал бояться, тоже. Они будут жить — здесь, в этой зоне, в этом лимбе, и он будет Гансом Вебером, торговым представителем из Бремена, и никто — никто — не узнает.

И всё будет — хорошо. Но это уже было — он уже говорил себе это раньше, и ещё раньше, и ещё раньше, чем раньше. И это всё повторяется, как заевшая пластинка.

И он будет лежать ночью рядом с ней, и потолок будет белым, и в темноте — серым, и потом чёрным, и потом потолок исчезнет, и вместо потолка — дым. И он будет знать, откуда этот дым. И в том мире, в том прекрасном мире, где Рейх стоит тысячу лет, Хельга стирала бы его форму. И Клаус маршировал бы, ровно, чётко, как учили в школе. И Дитер перестал бы плакать, потому что мужчины не плачут, потому что плач — это слабость, а слабость — это нет. И по утрам из трубы за холмом шёл бы дым, и они бы не спрашивали — чей, и он бы знал, и знание это было бы привычным, как привычен дождь, как привычен ветер, как привычно всё, к

чему привыкаешь.

И Ноа Гольдштейн не шил бы костюмы. И Ноа Гольдштейна — не было бы. И той, другой Хельги, которая любила синий — не было бы. И платья синего, с белым воротничком — не было бы. И мальчика на перроне — не было бы. И мальчик не оглянулся бы.

И если бы этот идеальный мир победил, если бы прямо сейчас он наступил…

Пространство лязгнуло. Снова. Ловушка захлопнулась. Он посмотрел на светлые волосы жены, — и увидел её в мешковатой, грязной робе. Увидел Клауса, прижимающего к себе бледного Дитера. Он увидел, как его собственная, идеальная, затянутая в черную кожу рука… указывает им налево. В печь. Потому что порядок требует чистоты. Потому что машина не знает милосердия.

Вебер стоял на перроне, не смея подойти к ним, не смея коснуться их. Он смотрел, как чья-то семья проходит мимо, растворяясь в толпе чужих, спасённых людей, которых он не убил.

Поезд ушёл. И вокзал ушёл вместе с ним. Вечер застал его на Банхофштрассе.

Солнце ушло — стремительно, воровски, как уходит человек, не желающий быть свидетелем. Ганновер лежал в сумерках, и сумерки были ему к лицу, как бывает к лицу пальто, сшитое точно по мерке — сумерки скрывали то, что нельзя было видеть при свете, и обнажали то, что свет прятал.

Из парикмахерской на углу вновь доносился голос мёртвого пропагандиста, монотонно читающий имена неслучившихся мертвецов. Он не останавливался — ни днём, ни ночью, ни в этом мире, ни в том — он читал, как читает река, как читает дождь, как читает огонь: без начала, без конца, без запятой, без помилования.

Вебер остановился. Он слушал.

Он слушал имена людей, которые в этом мире были живы, а в том, другом, в том, который он чертил, проектировал, высчитывал, в том, где всё было правильно, и чисто, и по закону, в том мире их не было. Ни одного. Они были — цифрами. Они были — дымом. Они были — пеплом, удобрявшим газон у их дома, на котором потом выросла бы трава, и трава эта была бы зелёной, потому что пепел — хорошее удобрение, об этом тоже были расчёты, и расчёты сходились, и колонки были ровными, и почерк — аккуратным.

*Рахиль Ковальски, тысяча девятьсот десятого…*

Он слушал, и имена входили в него, как входит игла в ткань, — ритмично, точно, стежок за стежком, — и каждый стежок пришивал его к этому месту, к этому тротуару, к этому миру, где они все — живы, где портной шьёт, где мальчик оглядывается на перроне, где женщина в сером пальто уводит ребёнка за руку — к этому миру, где он — никто.

Торговый представитель из Бремена. Протестант. Не служил. Ищет семью.

Он стоял, и в витрине парикмахерской — в той треснув-

шей витрине, которая удваивала каждого, — было его отражение. Смутное. Без лица. Рядом — другое, маленькое, сутулое, в очках, с бородкой.

Гольдштейн? Снова? — Нет. Блик. Трещина. Тень от фонаря. Никого.

А голос читал:

*Фриц Ланг…*

Он отшатнулся.

*— тысяча девятисотый…*

Но голос продолжил другой датой, другим именем, другой судьбой.

Не его. Пока — не его.

Человек без имени стоял на Банхофштрассе, в городе, который притворялся городом, в зоне, которая не была ни зоной, ни миром, ни чистилищем, а была швом. Линией, по которой один мир пришит к другому, стежок за стежком, и если потянуть за нитку — оба расползутся.

Он стоял и слушал голос, который читал имена людей, которых он не убил. В этом мире не убил.

И это «не» — тоньше нитки, тоньше паутины, тоньше лезвия, проведённого между двумя мирами — было единственным, что стояло между ним и тем, кем он был.

Между ним, — и тем, кем он хотел быть.

А на втором пути стоял пустой состав из Штеттина, и в пустых вагонах гулял ветер, и ветер пах ничем.

Совсем ничем.

Но над вокзалом, над этим унылым городом, над всей этой серой, растерзанной зоной, на самой границе обоняния, там, где запах перестаёт быть физиологией и становится состоянием души, тянулся густой, сладковатый, невыносимо знакомый запах крематорного дыма, которого не было.

*Синие платье с белым воротничком.*

# Глава 1. Вертиго

Расстояние от Ораниенбурга до Львова составляет тысячу восемьдесят километров по имперскому шоссе — если имперское шоссе существует, если мосты не взорваны, если бензин не кончился где-то между Бреслау и Краковом, если колонна не расстреляна с воздуха, если штаб ещё стоит на том месте, где он стоял вчера, если вчера ещё было вчерашним днём, а не геологической эпохой, отделённой от сегодняшнего утра непроходимым слоем горелой бумаги, пепла и человеческого оцепенения.

Расстояние от Львова до Берлина — семьсот девяносто. Расстояние от мужа до жены — неизмеримо.

Фриц Ланг, унтерштурмфюрер СС, адъютант коменданта лагеря специального содержания *KL Sachsenhausen* — так значилось в документах, и «специальное содержание» означало содержание, от которого содержимое имело свойство убывать, и документы эти Фриц составлял сам, собственноручно, аккуратным бухгалтерским почерком, потому что аккуратность была для него не качеством, а позвоночником, — стоял в коридоре реквизированного воеводского управления, прижимая к уху телефонную трубку из чёрного бакелита, тяжёлую, как кастет, холодную, как камень, — и слушал.

Он слушал голос жены.

Провод — серый, витой — тянулся к аппарату на стене.

Аппарат был привинчен к штукатурке польскими шурупами, штукатурка — нанесена польскими руками, которые теперь, вероятно, копали польскую землю или уже лежали в ней.

Но голос шёл. Голос шёл из Берлина — по медной проволоке, натянутой на деревянных столбах от Львова через Краков, через Бреслау, через поля, на которых ещё не остыли воронки, — и само это было чудом, хрупким, невозможным чудом: стена, провод, аппарат, трубка, ухо, голос — вся эта цепочка держалась на честном слове, на последнем натяжении, и каждый звук по пути терял что-то от себя, как теряет тепло вода, текущая по трубам зимой, — и голос Хельги, добравшийся до его уха, был уже не совсем её голосом, а его тенью, его слепком, его отпечатком в воске помех.

— …Дитер не спал всю ночь, — говорила Хельга, и голос дрожал, но не ломался, — и в этом было что-то такое, от чего Фрицу хотелось разбить трубку о стену и одновременно — вжать её в ухо так глубоко, чтобы голос проник в кость, в мозг, в ту часть сознания, где хранится то, что ещё не стало воспоминанием. — Он слышал, мы все слышали — бомбили Шпандау, мы были в подвале у Шмидтов, потому что наш подвал затоплен — и Клаус молчал всю ночь, Фриц, молчал, не плакал, не звал меня — просто сидел с открытыми глазами, — и я не знаю, что хуже: когда ребёнок кричит — или когда ребёнок молчит.

— Хельга. Хельга, успокойся.

— Я собрала два чемодана. Один — детские вещи. Второй — документы и зимнее. Мама звонила из Штеттина, там тихо, англичане бомбят только заводы, а в Штеттине нет заводов, там порт, но порт — это не завод, Фриц — поезда ещё ходят…

— Хельга, послушай.

— Нет, — и в этом её «нет» была та особая женская твёрдость, которая твёрже любого приказа, потому что приказ можно не выполнить, а «нет» жены — нельзя, оно не подлежит обжалованию, не имеет инстанции, не записывается в журнал входящих. — Нет, Фриц, ты послушай…

— Я слушаю, — сказал Фриц, и голос его стал тем голосом, которым он разговаривал не с женой, а с подчинёнными: ровным, размеренным, голосом человека, владеющего обстановкой. — И я говорю тебе: оставайся в Берлине. Дороги сейчас — худшее место. Ты останешься дома. Штеттин — это порт, но порт — это цель, Хельга. Порт — это корабли, это снабжение, это то, что бомбят вторым, после заводов. Берлин — крепость. Фюрер в Берлине. Пока фюрер…

— Фюрер не в Берлине, — сказала Хельга. — Фюрер в Пруссии. Все знают.

Фриц сжал трубку. Ладонь вспотела. Откуда она знает? Расположение Ставки — Вольфсшанце, Растенбург, Восточная Пруссия — было секретом, но секреты в Берлине жили не дольше, чем масло на сковороде: шипели и испарялись, и фрау Шмидт знала то, что знал Генштаб, и знала раньше, по-

тому что Генштаб получал сводки по каналам связи, а фрау Шмидт — от фрау Мюллер, от бакалейщика Гроссмана, от зубного врача, который лечил жену адъютанта начальника штаба — по той человеческой проводке, которая работает без столбов, без тока, без шурупов и которую никакой десант не в силах перерезать.

— Хельга. Послушай меня. Пожалуйста… Включи радио. Фюрер знает, что делает. Да, русские ударили в спину, — сказал Фриц. — Да, Сталин нарушил пакт. Но ты должна понимать, Хельга, — и здесь голос его обрёл ту дидактическую, почти отеческую интонацию, которая так раздражала Хельгу и которую он сам принимал за убедительность. — Ты должна, хоть немного, понимать политику: Черчилль ненавидит коммунистов. Антанта не пойдёт на сделку со Сталиным. Британцы, французы, они остановятся, как только увидят красные флаги у Вислы. Это закон, Хельга. Это — закон истории… У нас есть резервы…

— Фриц! — крик Хельги ударил ему в ухо так резко, что он вздрогнул. В этом крике больше не было жены офицера СС. Была только самка, спасающая детёнышей. — Бомбам плевать на Черчилля! Им плевать на Сталина! У них нет глаз, Фриц! Они падают сверху! Им всё равно, на кого падать — на танковый завод или на детскую кроватку Дитера! Я уезжаю. Я кладу трубку и увожу детей.

— Хельга, я запрещаю…

Линия оборвалась — не постепенно, не затухая, а сразу,

как обрезают ножницами, как обрезают пуповину, — и по ту сторону разреза осталось всё: квартира, вешалка, запах кофе, голос Дитера из ванной, Клаус с открытыми глазами, два чемодана у двери, а по эту — тишина. Пустая, окончательная тишина мёртвого провода, тишина перерубленной нити, тишина, в которой нет даже гудка, потому что гудок — это ещё система, это ещё порядок, это ещё связь, а здесь — ничего. Обрыв. Воронка. Пустота.

— Хельга?

Он нажал на рычаг. Отпустил. Нажал. Покрутил ручку. Покрутил ещё раз. Медная проволока, семьсот девяносто километров натянутой меди — молчала. Где-то между Краковом и Бреслау, или между Бреслау и Лигницем, или в чистом поле, где столб стоит среди осенней борозды — где-то там нить порвалась: снаряд, сапёры, сапог, ветер, просто тяжесть мира, навалившаяся на тонкую жилу, — и разговор кончился.

Два чемодана. Один — детские вещи. Второй — документы и зимнее.

Дверь в конце коридора распахнулась — не открылась, а именно распахнулась, ударившись о стену, — и к нему бросился Вальтер Бремме, роттенфюрер связи. Обычно выощенный, педантичный связист сейчас выглядел так, словно его протащили на верёвке по щебню. Китель расстёгнут, глаза расширены до состояния двух блюдец, в которых плескался чистый, неразбавленный ужас.

— Герр унтерштурмфюрер!

— Бремме.

— Русские, герр унтерштурмфюрер, — и слова выскакивали из него не по порядку, как выскакивают вещи из чемодана, когда чемодан открывают на ходу, — парашютисты — десант — под Люблином — и под Радомом — и, говорят, под Краковом — ночью — массированный — связи нет…

— С кем нет связи?

— Ни с кем.

Это «ни с кем» упало в коридор и осталось лежать — не отскочило, не прокатилось, а именно — легло, заполнило собой пространство между стенами, между лепниной и полом, между замазанным орлом и портретом фюрера на противоположной стене, легло и стало воздухом, которым теперь нужно было дышать.

— Со штабом группы — нет, — продолжал Бремме, и голос его обрёл ту монотонность, которая бывает у людей, перешедших от паники к перечислению. — С Берлином — нет. С комендатурой Кракова — нет. Линии перерезаны. Они режут провода, герр унтерштурмфюрер. Они — везде… Танки генерала Гудериана стоят без горючего — эшелоны горят… Поляки ударили в спину — те остатки, что прятались по лесам, соединились с Советами… А на западе…

Бремме сглотнул.

— Французы перешли Рейн, герр унтерштурмфюрер. Они даже не стреляют. Они просто едут на грузовиках по нашим

автобанам. Англичане уже в Бельгии… У нас там нет войск. Рейх зажат с трёх сторон.

— Что с фюрером? — спросил Фриц. — Растенбург?

Бремме посмотрел на него. И в этом взгляде — секундном, скользящем — было то, чего Фриц не видел на лице подчинённого ни разу за все месяцы службы: не страх, страх был нормой, страх был рабочей средой, страх был тем, что они производили, а нечто иное. Растерянность. Та особая, младенческая растерянность, которая наступает, когда человек обнаруживает, что пол, по которому он шёл, кончился.

— Растенбург молчит с четырёх утра, герр унтерштурмфюрер. Говорят — десант. Говорят — парашютисты на подходе к объекту. Но это, может быть, слухи.

— Слухи, — механически повторил Фриц.

Он повесил трубку. Медленно, аккуратно — на рычаг, точно на рычаг, — потому что аккуратность не может кончиться, аккуратность — это последнее, что остаётся, когда всё остальное уже рассыпалось. Трубка легла на рычаг, и руки Фрица легли вдоль тела, и он стоял в коридоре, прямой, застёгнутый на все пуговицы, выбритый, безупречный, стоял, как стоит столб, когда проволоку уже срезали, но столб ещё не знает об этом.

Он поправил китель. Провёл ладонью по волосам — жест автоматический, утренний, мирный, жест из того мира, где есть зеркало, бритва, помазок, горячая вода, запах «Кёльниш Вассер», расписание на стене — жест, принадлежащий по-

рядку. Он существовал ради порядка. Ради того, чтобы каждая вещь стояла на своём месте, каждый человек — в своём строю, каждая цифра — в своей колонке. Чтобы содержимое прибывало и убывало, но всегда — учитывалось.

А теперь не сходилось. Ничего не сходилось. Мир оказался мясорубкой, у которой кто-то сорвал резьбу.

Фриц, не глядя на связиста, двинулся к выходу. Вышел на крыльцо.

Львов лежал перед ним — чужой, каменный, равнодушный — город, которому было всё равно, кто в нём хозяин: поляки, немцы, русские, австрийцы, турки — он пережил всех и переживёт этих, и каштаны на бульваре стояли в рыжей, медной листве, и сентябрьское утро было ясным, тёплым, и в этой красоте было что-то непристойное — потому что мир не имел права быть красивым, когда всё рушилось.

По улице двигалась колонна — на запад. Отступление ещё не называлось отступлением: оно называлось «перегруппировкой», «выравниванием», «стратегическим отходом на заранее подготовленные позиции». Но у слов есть предел прочности, как у проволоки, и когда солдат бежит, нет такого слова, которое превратит бегство в марш.

Фриц смотрел на колонну и думал о двух чемоданах.

Хельга, вероятно, уже на вокзале. Или уже в поезде. Или поезда не ходят — линии перерезаны, провода, парашютисты. Нет: на запад, до Штеттина, линии ещё целы. Должны быть целы. Штеттин — это порт. Это север. Это Балтика.

Русские — на востоке. Бомбят Шпандау, не Штеттин. Штеттин — в стороне. Штеттин — вне. Штеттин — это…

Расстояние от Львова до Штеттина — восемьсот шестьдесят километров.

Расстояние от мужа до жены — бесконечность.

Он вернулся в здание.

— Бремме!

— Герр унтерштурмфюрер?

— Машину. Горючее. Продовольствие на трое суток. Карту. Мы выезжаем через час. Командировка закончилась.

— Куда, герр унтерштурмфюрер?

Фриц не ответил. Не на восток — там русские. Не на запад — там французы. На север?.. К Хельге. К двум чемоданам у двери квартиры на Шиллерштрассе, если чемоданы ещё не засыпаны штукатуркой, если дверь ещё на месте, если квартира ещё стоит.

Он остался один. Стоял у окна, в форме, которая ещё вчера означала абсолютную власть, а сегодня означала абсолютную мишень. Он снова взял в руку тяжёлую бакелитовую трубку, прижал её к уху. Послушал тишину — долго, внимательно, как врач слушает остановившееся сердце.

И в этом молчании — впервые, едва слышно, на самой границе сознания — шевельнулось то, чему он не знал названия. Не страх — страх он знал, страх был инструментом, рабочим материалом, страх он умел дозировать и учитывать.

Это было другое. Что-то, от чего мир, и без того уже со-

шедший с рельсов, начал медленно, неостановимо проворачиваться. Как огромная центрифуга. Вращаться, вращаться, пока верх не станет низом, пока солдат не станет беженцем, пока тот, кто составлял списки, сам не превратится в затравленное животное из чужого списка.

Но это будет потом.

А пока — облака. Пока — каштаны. Пока — часовой у ворот, докуривающий сигарету с тем жадным, обречённым сосредоточением, с каким курят люди, подозревающие, что эта сигарета — последняя. Пока — два чемодана, один — детские вещи, второй — документы и зимнее. Пока — семьсот девяносто километров молчащей меди.

Пока — расстояние.

# Глава 2. Пыль

Дорога из Львова на север начинается с того, что дороги нет.

То есть она есть — на карте: тонкая красная линия, прочерченная имперским картографом с той же аккуратностью, с какой Фриц Ланг прочерчивал колонки в журнале учёта — линия, соединяющая точку с точкой, Львов с Люблином, Люблин с Варшавой, Варшаву с Данцигом, Данциг со Штеттином — далее, далее, по красным артериям Рейха, который ещё вчера простирался от Рейна до Буга, а сегодня сжимался, как сжимается кулак, из которого вытекает вода, — и красные линии на карте становились тем, чем были всегда: краской на бумаге.

На бумаге — дорога. На земле — месиво.

«Кюбельваген» полз по шоссе, как жук по размокшей газете. За рулём сидел Курт Циммер, ефрейтор из автопарка Ораниенбурга, приданный Фрицу в командировку вместе с машиной — маленький, жилистый, с лицом, вырезанным из корня, — из тех шофёров, которые ведут машину не руками, а позвоночником, чувствуя каждую выбоину как личное оскорбление. Он молчал. Молчал, потому что всё, что можно было сказать, говорила дорога.

Дорога говорила — назад.

Мимо них — навстречу, в сторону Львова, откуда они

только что уехали — двигалось то, что три недели назад называлось вермахтом: грузовики с откинутыми бортами, в которых тряслись солдаты с лицами цвета дорожной грязи; мотоциклы, гружённые так, что коляски скребли днищем по камням; конные повозки — конные повозки! — в армии, которая гордилась танками; и пехота, серо-зелёная, бесконечная, шагающая не в ногу, без строя, без песни — масса, утратившая единственное, что отличает армию от толпы: направление.

— Куда вы? — крикнул Фриц, высунувшись из машины, когда «Кюбельваген» в очередной раз замер, упёршись в пробку.

Лейтенант — молодой, с землистым лицом и глазами, в которых уже погас тот огонёк, который в учебниках называют «боевым духом» — шёл рядом со своими солдатами, пешком — машину, вероятно, бросил, или потерял, или её больше не было.

— На Львов, — сказал лейтенант. — Приказ — удерживать Львов.

— Чей приказ?

Лейтенант посмотрел на Фрица — на чёрную форму, на руны в петлицах, на мёртвую голову на фуражке, — и в этом взгляде было то выражение, с которым полевые офицеры смотрели на людей из СС: как смотрят на крысу, нашедшую сыр.

— Приказ, — повторил он и пошёл дальше.

Чей приказ — он не знал. Никто не знал. Приказы рождались из пустоты — из слухов, из обрывков последних радиограмм, из слов, сказанных кем-то кому-то час или сутки назад, — и каждый противоречил другому, и все вместе они противоречили реальности, а реальность противоречила самой себе.

А по обочинам текло другое.

Справа, толкая перед собой тележки с перинами и кастрюлями, шли те, кто бежал от немцев на восток. Слева, кутаясь в платки, брели те, кто теперь бежал от русских на запад. Встречные, трущиеся друг о друга потоки паники.

Евреи и цыгане шли в одной пыли с поляками, плечом к плечу, и это было неправильно — не потому что шли, а потому что вместе. В том каллиграфически безупречном мире, который строил Фриц, эти потоки не могли пересекаться. Но расчерченный мир кончился. Остался мир нерасчерченный, где все спасались по одной обочине.

— В октябре всё было иначе, герр унтерштурмфюрер, — вдруг сказал Циммер, не отрывая взгляда от грязного ветрового стекла. — Почти год назад…

Он крутанул руль, объезжая дохлую лошадь с раздутым, как барабан, животом.

— Когда мы входили в Судеты, пыли не было. Там, в Карлсбаде, они стояли вдоль дорог. Девушки бросали нам на броню астры. Осень была тёплой, и эти цветы… они пахли духами, мокрым асфальтом, праздником. Мы ехали по Ев-

ропе, как боги, герр Ланг. А теперь… Мне девушка бросила — белую — прямо в кабину. Я её засушил. Жене хотел отвезти.

Он замолчал.

— Отвёз? — спросил Бремме сзади.

— Потерял. Между Прагой и Бреслау. Выпал из кармана. Или я его выбросил. Не помню.

Циммер сплюнул в приоткрытое окно.

— А теперь мы едем по выгребной яме. И никто не знает, в какую сторону из неё выбираться.

Фриц промолчал. Слова водителя отскакивали от него, не причиняя вреда, потому что внутри Фрица работала другая механика. На его коленях лежал коричневый кожаный портфель с монограммой *KL*. И внутри этой лесной, первобытной паники портфель оставался последним островком высшего, кристального разума. Там лежала папка с грифом «Geheime Reichssache».

Его командировка во Львов, в этот плавильный котёл национальностей, не была инспекцией. Ораниенбург столкнулся с кризисом, который Фриц, как хороший управленец, должен был разрешить. Аресты «асоциальных элементов» шли по графику, но система давала сбой на выходе: старики, больные, истощённые не могли работать. Они занимали место. Они потребляли брюквенную баланду. Они были убылью без прибыли, строкой в бюджете, которая не сходилась.

Стрелять их было нерентабельно. Пуля — это латунь, это

порох, это логистика и человеческий фактор. Экономика смерти требовала изящества.

Именно поэтому Берлин отправил его на Восток. Здесь, в Галиции, где местное население с радостью готово было взять на себя часть грязной работы, где антисемитизм впитывался с материнским молоком, Фриц Ланг искал новое решение. Он проводил встречи. Он чертил схемы. что делать с теми, кто не может работать?

Он был в шаге от чистого, почти математического озарения. Он уже видел контуры больших, светлых помещений с душевыми лейками под потолком, где проблема решалась бы гигиенично и без расхода цветных металлов.

Но русские десантники и французские танки превратили его чертежи будущего в макулатуру. Его идеальный Рейх, где он был бы Архитектором Чистоты, рухнул, оставив его в пыли, бегущим на север, к жене.

— Циммер, — сухо приказал Фриц. — Сворачивай. Просёлок. Любой.

— Но герр унтерштурмфюрер, это не по карте…

— Сворачивай. Нам нужно прочистить фильтры и попытаться поймать волну. В этом месиве мы до ночи не проедем и двадцати километров.

«Кюбельваген» вильнул, перевалился через канаву и, сминая сухой татарник, съехал с имперского шоссе. Густой, ревущий шум беженцев начал стихать, затягиваться жёлтой листвой, пока не превратился в глухой, отдалённый гул оке-

ана.

Они остановились через два километра, у старой каменной ограды. Мотор чихнул и замолк. Наступила тишина — та самая, оглушительная тишина сентября тридцать девятого года, в которой ещё можно было услышать, как падает жёлудь, хотя в двадцати милях отсюда уже падали фугасы. Тишина паузы. Тишина между выдохом и вдохом.

Бремме, связист, тут же выскочил из машины, бережно, как младенца, вынес рацию на капот и закинул тонкий провод антенны на ветку дуба. Циммер открыл багажник, доставая жестяные банки с тушёнкой и хлеб. Фриц вышел из машины, разминая затёкшие ноги. Он достал сигарету. Вытер руки платком — аккуратно, палец за пальцем. Жест из того мира, где после каждого документа нужно было мыть руки.

Он закурил. Дым смешался с запахом прелой листвы.

И тут из подлеска появилась собака.

Не выбежала — появилась, как появляются вещи в этом расшатанном мире: без предупреждения, без причины. Минуту назад — пустое поле. А теперь — она. Крупная дворняга, грязно-белая, с подпалинами, худая до такой степени, что каждое ребро читалось под кожей, как струна.

Она стояла на границе света и тени. Не лаяла. Не рычала.

Но страшным было не её истощение. Страшными были её соски — набухшие, тёмные, оттянутые к земле. Она была кормящей матерью. Матерью, у которой было много молока, но те, кто должен был его пить, исчезли в воронках этого

безумного дня.

Она стояла и смотрела на них. И в её карих, прозрачных глазах не было ни голода, ни мольбы. В них был только один вопрос, старше человеческой речи: *Где? Где мои?*

Циммер замер с открытой банкой.

— Иди сюда, шавка, — тихо позвал он, отламывая кусок жирного мяса и бросая в траву. — На…

Собака даже не повела ухом. Ей не нужно было мясо. Она искала то, что эти люди в серой и чёрной форме забрали у мира самим фактом своего существования.

Фриц смотрел в жёлтые глаза животного. И в этом бессловесном контакте было что-то, от чего горло перехватило спазмом. Потому что он знал этот взгляд. Он видел его на аппельплаце в Заксенхаузене, когда из барака выводили женщин, тех, кого переводили — куда? в другой барак? на другой объект? в другую графу? — и они оборачивались, и глаза их перебегали по шеренге, — и вопрос был тот же, тот же, один и тот же: *Где? Где мои?*

Но тогда этот взгляд был для Фрица просто материалом. Входящим потоком. А сейчас, на этом пустом поле, реальность дрогнула, заскользила, и в жёлтых собачьих глазах Фриц внезапно увидел Хельгу. Увидел жену, стоящую в затопленном берлинском подвале. Хельгу, прижимающую к себе онемевшего Клауса, пока сверху, из равнодушного неба, с воем падает бомба, которой абсолютно всё равно, чьё мясо рвать.

Удар чужой, невыносимой боли прошил его под лопатку. Простая человеческая слабость, от которой он так тщательно лечился годами — строевой подготовкой, уставами, колонками цифр — что-то, чему он не знал названия и знать не хотел — хлынуло в него, как вода в трюм.

— Пошла вон! — хрипло выкрикнул Фриц.

Он шагнул вперёд, выхватив из кобуры тяжёлый люгер. Рука архитектора лагерей, всегда такая твёрдая, мелко, непривычно задрожала. Он наставил ствол на животное, защищаясь от её глаз, от её потери, от своего собственного рухнувшего мира.

— Пошла вон, тварь!

Собака не испугалась. Она посмотрела на пистолет, медленно моргнула и, так же бесшумно повернувшись, растворилась в осеннем лесу, унеся с собой свою тяжёлую, невостребованную любовь.

Фриц стоял, тяжело дыша, сжимая пистолет.

И в эту секунду за его спиной громко, надрывно затрещала рация.

— Герр унтерштурмфюрер… — голос Бремме из-под наушников прозвучал сухо, как ломающийся сухостой. Связист смотрел не на аппарат, а куда-то сквозь капот машины. — На частоте сорок два и три. Открытым текстом. Без шифра.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.